

MONSIEUR ILYA

Хирург боярских кровей



I

Monsieur Пуа

**Хирург боярских кровей.
Анатомия бездаря. Том 1**

«Автор»

2026

Пуа М.

Хирург боярских кровей. Анатомия бездаря. Том 1 / М. Пуа —
«Автор», 2026

Я похоронил больше людей, чем вы видели в жизни. Так что не пугайте меня
описью имущества. Да, мне восемнадцать. Да, мой род в долгах, Сила во мне
спит, а имя «бездарь» прилипло намертво. Удобно, правда? Все вокруг уже
решили, чем это кончится. Они ошиблись в одном. В том, что у меня в груди.

© Пуа М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 Первичный осмотр	5
Глава 2 Рыжуля	13
Глава 3 Мёртвые не подписывают	21
Глава 4 Тихий дом	27
Г	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Хирург боярских кровей. Анатомия бездаря. Том 1

Глава 1 Первичный осмотр

Первое, что Сергей понял, очнувшись, – это что у него снова целы зубы.

Глупая мысль для человека, который только что умер. Но язык сам пробежал по ровному ряду и нащупал тот, что слева. Выбитый ещё на первой войне прикладом. А он был на месте. Целый. Сергей лежал в чужой темноте с закрытыми глазами и думал не про свет в конце тоннеля, не про родных, а про то, что у него выросли зубы, и это неправильно.

Потом пришла боль. Знакомая, честная. Рёбра, скула, рассечённая бровь. Боль он уважал. Она означала, что тело живое и что-то в нём ещё чинится. За двадцать лет в полевых госпиталях он научился читать чужую боль не хуже, чем газету. Свою тоже.

Эта боль говорила: тебя били. Грамотно, несколько человек, ногами, по тому, что не убьёт, но запомнится надолго.

Он открыл глаза.

Низкий потолок с потемневшими балками. Не больница. Не его квартира на пятом этаже без лифта. Пахло сыростью, остывшей золой и почему-то воском, как пахнет в старых домах, где экономят на всём, кроме лампад. Сквозь мутное оконце сочился серый свет, и в нём плавала пыль.

Сергей сел. Тело послушалось не сразу и не так. Оно было чужим, лёгким, незнакомым. Он поднёс к лицу руки. Молодые. Тонкие в кости, без его шрамов, без желтизны от табака и реактивов, без того среднего пальца, что плохо гнулся после Карабаха. Ровные пальцы мальчишки.

Паниковать он не стал. Паника – роскошь, которую медик не может позволить себе над раненым. А себя он сейчас осматривал как раненого. Сначала факты. Выводы после.

Факт. Он помнил гололёд. Фуру, идущую юзом на встречу. Свою старую «ниву», которую повело боком к отбойнику. Помнил, как успел подумать без особого страха, скорее с досадой: ну вот и отъездился. И темноту.

Факт. Он жив. В чужом теле. Молодом.

Факт. Это тело знали и не любили. Под его собственными мыслями лежал тонкий слой чужой памяти, как ил на дне пруда. Тронешь – поднимается муть. Имя. Глеб. Глеб Калитин. Дом. Род. Академия. И горячий, унижительный стыд, от которого даже сейчас сводило скулы. Чужой стыд, мальчишеский, въевшийся в самые кости.

Сергей сидел и осторожно, слой за слоем, разбирал этот ил.

Глеб Калитин, восемнадцать лет. Последний в роду. Калитины когда-то были на виду, теперь обнищали до того, что слуга остался один. Отец и мать мертвы уже год. Несчастный случай, как говорили. Память подсовывала похороны, два гроба, мёрзлую глину. И сразу за ними кредиторов, опись, холод в доме, который перестали топить.

И Академию. Северную Академию, где учат владеть Силой тех, в ком проросло Зерно. Глеба туда взяли из уважения к фамилии, а три года поливали грязью, потому что Зерно в нём не росло. Пыль. Самый нижний ранг, с которого начинают все. И на котором Глеб застрял намертво, пока остальные шли вверх. Пыль в восемнадцать – это приговор. Это клеймо бездаря.

Вчера его отчислили. А по дороге из Академии, в проулке, встретили. Трое. Били молча, деловито. Не грабили, у Глеба и взять было нечего. Просто били, чтобы помнил место.

Сергей дотронулся до рассечённой брови и хмыкнул. Звук вышел чужой, юный, ломкий.

«Ну здравствуй, Глеб, – подумал он. – Не свезло тебе с телом. Зато теперь в нём живёт кто-то взрослый».

Ни ужаса, ни восторга он не чувствовал. За сорок один год он слишком часто стоял у грани, чтобы трепетать перед очередной нелепостью. Две войны выжгли в нём страх и оставили вместо него ровную сухую усталость. И одно правило, на котором он держался все эти годы. Пока дышишь, работай. Раненый дышит – лечи. Сам дышишь – живи.

Он дышал. Значит, надо вставать и разбираться, во что вляпался.

Сергей спустил ноги с жёсткого топчана и поднялся, держась за стену. Голову повело, перед глазами поплыли мушки. Сотрясение, лёгкое, бывало хуже. Он переждал, дыша медленно через нос, и оглядел каморку.

Бывшая людская, судя по всему. Тут Глеб и ютился, забросив остывшие господские покои. Узкий топчан, сундук, табурет. На гвозде потёртый кафтан с потускневшей серебряной застёжкой в виде ключа. Герб Калитиных, подсказал ил памяти. Ключ. Когда-то род что-то стерёг. Теперь стерёг пустоту.

В груди вдруг кольнуло. Не болью, иначе. Тепло и тяжесть разом, будто под рёбрами лежал нагретый камень. Сергей замер и прислушался к себе профессионально. Не сердце. Глубже, в самом центре, под солнечным сплетением. Что-то живое, свёрнутое, спящее.

Зерно, понял он. Вот оно. То самое, что у Глеба «не росло».

Он закрыл глаза и потянулся к нему вниманием. Осторожно, как пальцами к открытой ране. Зерно отозвалось слабо, тускло. Крохотный уголёк под слоем золы. Пыль, самый нижний ранг. Чужая память не врал.

Но было и другое.

Сергей нахмурился, вслушиваясь глубже. Зерно слабое, это понятно. А вот скорлупа вокруг него, та незримая оболочка, что в памяти Глеба звалась Печатью, рисунком Силы, оказалась неправильной. Память хранила смутные образы чужих Печатей из Академии. У кого язык пламени, у кого скол льда, ровные простые узоры. А тут узора не было.

Была дыра. Пустота в том месте, где у других горит стихия. И эта пустота чего-то ждала. Сергей не нашёл лучшего слова, чем то, что пришло само от его медицинского нутра.

Голодная.

«Любопытно», – подумал он, и эта мысль легла ровно туда же, куда легли бы нетипичные симптомы у пациента. Глеб отложил на потом, когда будет время и не будет горящего рядом».

Разбираться было некогда. За дверью каморки послышались шаги. Старческие, шаркающие, торопливые. Дверь скрипнула, и внутрь, согнувшись под притолокой, протиснулся старик.

Маленький, сухой, в ливрее, которая помнила лучшие времена и висела теперь на нём как на вешалке. Седой венчик вокруг лысины, слезящиеся глаза, скрюченные ревматизмом руки. И на этих руках он нёс, бережно, как святыню, миску с чем-то, от чего поднимался жидкий пар.

Увидев, что Глеб стоит, старик ахнул и едва не выронил миску.

– Глеб Андреич! Встали! Господи, да куда ж вы встали, вам лежать надо, вас же вчера... – Он засуетился, заозирался, не зная, куда деть посудину, и наконец сунул её на табурет. – Я вам отвару сварил, на травах, Марфа собирала по осени, она в этом понимает. Голова-то как? Болит? Кружится?

Сергей смотрел на старика, и в иле всплывало имя. Прохор. Дворецкий. Последний из челяди, кто не ушёл, когда платить перестали. Семьдесят с лишним лет, ревматизм, и преданность такой пробы, какой Сергей в прошлой жизни почти не встречал. А он повидал людей в обстоятельствах, где человек виден насквозь.

И вот что зацепило. Старик держался не за господское добро, добра не осталось. Он держался за мальчишку. За последнего, кому служил всю жизнь.

– Болит, – честно сказал Сергей. Голос чужой, но он уже привыкал им управлять, как привыкал бы к новому скальпелю. – Кружится. Но кости целы. Жить буду.

Прохор моргнул, будто услышал что-то непривычное. Может, тон. Прежний Глеб со стариком так не говорил. Огрызался. Срывал на единственном, кто был под рукой, всё, что копилось в нём от Академии, от голода, от холодного дома.

– Чудно вы нынче говорите, барин, – осторожно сказал старик.

«Следи за языком», – отметил Сергей. Чужак выдаёт себя словами быстрее, чем поступками.

– Башкой крепко приложился, – сказал он. – Много путается. Ты вот что, Прохор. Сядь.

– Как можно при вас сидеть, барин...

– Сядь.

Сказано негромко. Но старик сел. Так садятся, когда в голосе слышат не каприз, а то, чему привыкли подчиняться. Сергей двадцать лет командовал в операционных, где промедление стоило жизни, и это осталось в нём. Перешло в новый голос само.

– Расскажи мне всё, – сказал Глеб. – Как есть. Про дом, про долги, про то, кто нас вчера приходил пугать. Я вчера головой ударился, у меня многое смешалось. Так что давай по порядку. Будто я ничего не знаю.

Старик глянул на него странно. Долго, пристально, будто увидел в знакомом мальчишеском лице незнакомца. Сергей выдержал взгляд. Пусть удивляется. Удивление он переживёт. Хуже было бы, если бы старик испугался.

А Прохор не испугался. Он вдруг выпрямился, насколько позволяла горбатая спина. Будто давно ждал, когда мальчишка спросит его именно так. По-хозяйски. Как мужчина мужчину.

– Расскажу, Глеб Андреич, – тихо сказал он. – Всё расскажу. Только рассказ невесёлый. Совсем худо у нас. Хуже некуда.

– Хуже некуда я слышал не раз, – сказал Сергей. И впервые за два своих рождения усмехнулся – коротко, без веселья, как привык реагировать. – И всякий раз выходило, что есть куда. Так что не пугай. Говори.

И старик начал говорить.

А Глеб слушал, прихлёбывая остывающий отвар, горький и пустой, но горячий, и в голове у него, привычно и холодно, как над операционным столом, складывался диагноз. Кровило в этом доме много где. Но первым, что надо было резать, оказался простой и злой вопрос, на который старик всё никак не решался ответить прямо.

Сколько дней осталось до того, как этот дом отнимут.

Сергей поставил пустую миску на пол и приготовился слушать. По лицу старика он уже видел: цифры будут плохими.

Долгов было много, но кровил один.

Прохор перечислял их, загибая скрюченные пальцы, и каждое имя выговаривал так, будто называл болезнь. За похороны не доплачено. Лавочнику за зиму. Лекарю, что ходил к матушке перед смертью. По мелочи, по углам, по соседям. Но всё это были царапины. А была рана, от которой дом истекал.

Ростовщик. Лейб Зунделевич.

После смерти родителей мелкие долги расплзлись по чужим рукам, как всегда бывает, когда чувствуют, что должник слаб. И вот тут пришёл Зунделевич. Скупил их все. У лавочника, у лекаря, у соседей. Собрал в один кулак. И теперь держал род Калитиных за горло: триста рублей с процентами, что нарастали быстрее, чем сходит снег по весне.

Срок выплаты послезавтра.

А послезавтра ростовщик имел полное законное право прислать пристава. Опись имущества, торги, и Глеба вон из дома вместе со стариком. Землю под домом тоже с молотка.

Сергей слушал так, как слушал когда-то доклад дежурной сестры о поступившем с поля боя. Не ужасаясь. Вычленив, что кровит сильнее всего и что резать первым.

– Триста рублей, – повторил он. – А есть у нас триста рублей?

– Нет, барин, – тихо сказал Прохор. – Хотя всё продай, что в доме осталось, на полсотни не наберём.

– А полсотни не спасут.

– Не спасут.

Сергей помолчал. Прошёлся пальцами по краю топчана, как ходил когда-то перед сложной операцией, собираясь с мыслями.

– Прохор. Этот Зунделевич. Зачем емудохлый боярский род? Что он с нас возьмёт, кроме развалины, за которую и грош не дадут?

Старик замялся. И в этой заминке Сергей уловил то же, что улавливал у пациентов, которые не договаривают про главную боль.

– Землю, барин, – выдавил Прохор наконец. – Землю нашу. За неё уже второй год кто-то торгуется. Через того же Зунделевича. Батюшка ваш, покойный, не продавал. Ни в какую. Хотя и нужда была, хоть и сулили хорошо. Упёрся, и всё тут. А как помер... вот тогда долги-то и поползли. Будто кто нарочно их собирал, чтоб землю отжать.

Сергей отложил это в сторону, как откладывают подозрительный анализ. Землю не продавал. Уперся насмерть. А как помер, сразу долги. Слишком ровно ложится, чтобы быть случайностью. Но выводы потом.

В этот момент дверь без стука отворилась, и в каморку вошёл второй.

Немолодой, лет за пятьдесят, кряжистый, с седой щетиной и лицом, по которому будто прошлись наждаком. Старый шрам через бровь. Стоял прямо, развернув плечи, и хотя одет был в простой кафтан, видно за версту: военный. Из тех, кого выправка не отпускает до могилы. На поясе старый, но ухоженный палаш.

Ил памяти подсказал имя. Демьян. Десятник. Всё, что осталось от дружины рода. Один старый вояка, который служил ещё деду и не ушёл, потому что присяга для таких не слово, а позвоночник.

– Прохор сказал, вы встали, – проговорил Демьян, оглядывая мальчишку с ног до головы. Взгляд цепкий, недоверчивый, задержался на разбитом лице. – Вижу, вчера вам в проулке знатно гостинцев отвесили. Знал бы заранее, проводил бы. Да только вы провожатых не жалуете, Глеб Андреич.

В голосе не было обиды. Была констатация. И снова Сергей понял по тону: прежний хозяин тела этих двоих держал за пустое место. Как и весь свет держал самого Глеба.

– Не жаловал, – спокойно согласился он. – Дурак был.

Сказал просто, без надрыва. И увидел, как у Демьяна дрогнула бровь со шрамом. Старый воин не ждал такого ответа. Он привык к огрызанию, к капризам, к мальчишеской злобе. А тут с ним согласились. Признали правоту. Это сбивало с толку сильнее любой грубости.

– Садись, Демьян, – сказал Глеб. – И слушай. Чтоб дважды не повторять.

Десятник помедлил, потом развернул табурет и сел. Прямо, уперев ладони в колени. Так садится человек, который не привык расслаиваться, но готов слушать.

– Долг послезавтра, – сказал Глеб. – Триста рублей. Их у нас нет. За долгом стоит Зунделевич. За Зунделевичем кто-то ещё, кому нужна наша земля. Прохор так говорит. Ты, Демьян, человек военный, на тебя у меня вопрос прямой. Этот ростовщик сам по дворам ходит долги трясти?

Демьян хмыкнул в седую щетину.

– Куда там. Сам в конторе сидит, на Менялином ряду, чистенький. По домам шестёрка шлёт. И завтра, попомните моё слово, пришлёт. Последнее предупреждение делать. Морду

пугать перед приставом, чтоб боярин до послезавтра сговорчивей стал. Двое-трое будет, при дубинках. И один из одарённых, для острастки.

Один из одарённых. Сергей задержался на этом, как задерживался на симптоме, который меняет весь диагноз.

– Какого ранга одарённый?

– Шваль обычно. – Демьян пожал плечами. – Камень, может, Скала, если расщедрытся. Серьёзные люди к нищим боярам серьёзных не шлют. Огоньком в стену пыхнет, оконце вышибет, и весь разговор. – Он прищурился, и в глазах мелькнуло что-то острое. – А вам зачем, Глеб Андреич? Не задумали ли чего? С тремя кулаками тягаться оно... – Он не договорил, но взгляд договорил за него. Оно для бойца, а не для битого студента с Пылью в груди.

Сергей не ответил сразу. Он смотрел на свои чужие молодые руки, лежащие на коленях, и слушал тёплую тяжесть под рёбрами. Голодную дыру вместо Печати.

Если завтра в этот мёртвый дом своими ногами придёт одарённый. Слабый, наглый, уверенный, что пугает мальчишку-бездаря. И принесёт с собой Печать. А у Глеба в груди пустота, которая чего-то ждёт.

Он не знал ещё, как это работает. Не знал цены. Знал только одно, проверенное двумя войнами правило: у человека, которому нечего терять и который умеет ждать, всегда есть преимущество перед тем, кто пришёл просто попугать.

– Ничего пока не задумал, – сказал он ровно. Первая его ложь в новом мире, мелкая, рабочая. – Хочу понимать, с чем имеем дело. Демьян, завтра, когда придут, не лезь. Что бы ни было. Стой в стороне и смотри. Я сам поговорю.

– Барин...

– Демьян. – Голос снова стал тем, командным, от которого старый вояка против воли подобрался. – Ты присягал роду. Я и есть род, что от него осталось. Прошу немного. Один день не мешать и быть рядом, если совсем худо станет. Сможешь?

Десятник смотрел на него долго. Очень долго. Потом сделал то, чего, судя по тихому вздоху Прохора, не делал давно. Медленно, тяжело наклонил седую голову.

– Смогу, Глеб Андреич. Только знайте. Если эта шваль вас хоть пальцем тронет, я не посмотрю, что велено в стороне стоять. Старый я палаш держать. Да рука помнит.

– Знаю, – сказал Глеб.

И вдруг почувствовал что-то незнакомое и неудобное. То, чего у обоих его «я» давно не было. За него готов кто-то выйти с палашом. Просто так. По присяге, которой полвека. Он отвёл глаза, чтобы не выдать этого. Медик не сентиментален у стола. Сантименты после, если будет «после».

– Прохор, – сказал он, поднимаясь. Тело качнуло, он переждал, держась за стену, уже не стыдясь этого перед своими. – Покажи мне дом. Весь. Что осталось, что можно продать, где что лежит. И подвал. Особенно подвал.

– Подвал-то зачем, барин? – удивился старик. – Там пусто давно, сырость одна да крысы.

Сергей сам толком не знал зачем. Но когда он подумал про низ дома, про землю под ним, ту самую, за которую кто-то торгуется второй год, тёплая тяжесть под рёбрами качнулась. Едва заметно. Как стрелка компаса. Как пульс под пальцами.

– Затем, – сказал он, – что за нашу землю кто-то готов убивать. А землю эту мы с тобой под ногами держим. И прежде чем завтра встречать гостей, я хочу понять, на чём стою.

Он шагнул к двери. Демьян поднялся следом, и ладонь его сама легла на рукоять палаша, привычно, как у человека, для которого готовность давно стала второй кожей.

А Глеб думал о завтрашнем дне. Завтра придут пугать мальчишку. Только мальчишки в этом доме уже не было.

Они пришли в полдень, как и обещал Демьян.

Глеб услышал их раньше, чем увидел, - по тому, как изменилась тишина двора. Хруст снега под несколькими парами сапог, ленивая ругань, удар кулака в воротину. Так стучат не гости. Так стучат хозяева, которые ещё не вступили в права, но уже примеряются.

– Эй, Калитины! Отворяй! От Зунделевича!

Глеб стоял у окна столовой и смотрел во двор сквозь мутное стекло. Трое. Двое крепкие, в коротких полушубках, с дубинками за поясом, морды кирпичом. Обычная мускульная сила, какую нанимают за гроши на Менялином ряду. А третий держался иначе.

Молодой, лет двадцати пяти, в добротном суконном пальто, с тростью. Щегольской, ненужной, для форса. И вокруг него Глеб разглядел то, чего не разглядел бы прежний хозяин тела. Тонкое, едва заметное марево. Воздух над плечами этого человека дрожал, как над печкой. Одарённый. Тот самый, для острастки.

Глеб прислушался к себе. К тёплой тяжести под рёбрами.

Зерно качнулось. А голодная дыра, та пустота, что лежала там, где у других горит Печать, отозвалась. Не словом, не мыслью. Ощущением. Так подводит живот при виде еды у того, кто давно не ел.

«Спокойно, – сказал он себе. – Сначала посмотрим».

– Прохор, – не оборачиваясь, велел он. – Отвори. Впусти. И отойди в угол. Демьян, помнишь уговор.

– Помню, – глухо отозвался десятник из тени у стены. Он стоял, скрестив руки, и костяшки на сжатых кулаках побелели. – Стою и смотрю. Покуда смотрится.

Прохор, мелко крестясь, пошёл отворять.

Они ввалились в столовую, внеся с собой холод и запах перегара. Двое мордovorотов сразу растеклись по комнате. Один встал у окна, другой у двери, отрезая выходы. Привычно. Делали не впервой. А щёголь с тростью прошёл к столу, оглядел пустые стены со светлыми пятнами там, где раньше висели картины, и поморщился.

– И это боярский дом, – протянул он. – Нищетой воняет. – Он наконец удостоил взглядом Глеба. – Ты, что ли, последний Калитин? Тот самый бездарь, которого из Академии поганой метлой?

Глеб молчал. Он смотрел на одарённого и читал его. Не Силу, до Силы он ещё не умел. Человека. Двадцать пять лет, сытое лицо, мягкие руки без мозолей. Дрался редко, больше пугал. Уверен в себе до глупости. Привык, что от одного его марева нищие бояре бледнеют и лезут в сундук за последним.

Опасен ли он? Для прежнего Глеба - да. Для военного хирурга, который вытаскивал людей из-под обстрела, - самоуверенный молокосос, не нюхавший настоящего пороха.

– Чего молчишь? – Щёголь шагнул ближе, постукивая тростью по ладони. – Язык отнялся со страху? Слушай сюда. Хозяин велел передать. Послезавтра придёт пристав. Опись, торги, вон из дома. Это коли по-плохому. А по-хорошему есть бумага.

– Какая бумага, – сказал Глеб.

Не вопрос. Он просто хотел, чтобы тот говорил дальше. Говорящий враг выдаёт больше, чем дерущийся.

– Хорошая. – Щёголь полез за пазуху, вытащил сложенный лист. – Отказная. На землю. Подписываешь, что землю Калитиных уступаешь по доброй воле, кому надо. И живёшь себе дальше. Нищий, но не должный. Зунделевич, он же добряк. Зачем тебе земля? Ты с неё всё равно гроша не выжал.

Вот оно. Глеб поймал это спокойно, но внутри что-то застыло холодно и твёрдо. Им не нужен дом. Им нужна земля. А долг - всего лишь рычаг, чтоб её отжать. Демьян был прав.

– Покажи, – сказал Глеб и шагнул к столу.

– О, смышлёный. – Щёголь развернул лист. – Вот тут подпись твоя, и тут.

Глеб взял бумагу. Пробежал глазами быстро и цепко, медицинская привычка читать суть, не вязнуть в словах. Отказ от земельного надела рода Калитиных в пользу... имя затёрто и вписано другой рукой, позже. Подставное. А ниже, мелким шрифтом, то, о чём щёголь смолчал. Отказ не только от земли. От всех родовых прав. Подпишешь - и ты больше не Калитин. Никто. Безродный, которого можно вытереть о порог.

– Складно, – сказал Глеб и положил лист на стол. – Только знаешь, что меня смущает?

– Ну?

– Что человек, которому нечего терять, бумаг не подписывает. – Шлеб поднял на него глаза, и что-то в этом взгляде заставило щёголя на миг запнуться. Восемнадцатилетнее лицо, а глаза старые. Спокойные. Усталые. – Мне терять нечего. Ты пришёл пугать того, кто уже всё потерял. Плохая работа. Бесперспективная.

Двое у стен переглянулись. Щёголь нахмурился, расклад пошёл не по писаному.

– Ты, бездарь, кажется, не понял. – Он перестал улыбаться. Поднял трость, и марево вокруг него сгустилось, дрогнуло. Сила потекла к ладони. – Я ведь могу и по-плохому объяснить. Прямо сейчас. Чтоб ты до послезавтра стал посговорчивей. Руку, скажем, попорчу. Или старику твоему.

Он повёл тростью в сторону Прохора. И на конце трости расцвёл огонь. Небольшой, с кулак, рыжий, злой. Огненная Печать. Ранг Камень, прикинул Глеб по тому, как неровно и жадно горело пламя. Слабовато. Но старику хватит.

Глеб перестал ждать.

Не от страха. От расчёта. Он двадцать лет работал там, где между «думать» и «делать» нет затора, где промедление в секунду стоит руки, ноги, жизни. Тело Глеба было чужим, слабым, непривычным. Но рефлекс решения остался его. Отточенный до кости.

Он не бросился на огонь, это было бы глупо. Он шагнул вбок, к мордовороту у окна, тому, что ближе, и сделал единственное, что умел делать этим телом по-настоящему. Ударил не силой, силы в чужих руках не было. Точностью. Ребром ладони, снизу вверх, в основание носа – в нервный узел, который Сергей за двадцать лет научился находить вслепую. Туда, где у человека всё сходится в одну вспышку белой боли, а тело на пару секунд забывает, как стоять.

Мордоворот хрюкнул и сел на пол, заливаясь кровью и слезами, выключенный на добрых полминуты.

– Демьян! – рявкнул щёголь, разворачивая огонь уже не на старика, а на Глеба. – Да что ты сто... ах ты!

Огонь сорвался с трости.

Глеб не успевал увернуться. Тело слишком медленное, а он слишком близко. И в этот растянутый, как всегда перед бедой, миг он поддался не голове, а голодной тяжести под рёбрами, которая рванулась навстречу пламени сама. Выбросил руку вперёд. Ладонью к огню. Как самоубийца.

И дыра в его груди раскрылась.

Глеб не увидел этого глазами. Почувствовал. Будто внутри, в самом центре, распахнулся голодный зев. И огонь, чужая Сила, чужая Печать, не обжёг ладонь, а потянулся в неё. Втянулся. Прошёл сквозь руку вверх по жилам, к груди, в пустоту, которая ждала.

Боль пришла следом. И какая.

Не ожог. Хуже. Будто сквозь него протаскивали раскалённую проволоку, от ладони к сердцу, и там, в груди, что-то рвалось и сшивалось заново. Грубо. Без наркоза. Глеб задохнулся, рухнул на колени. В глазах потемнело, к горлу подкатило. Он успел подумать отстранённо, по-врачебному: болевой шок, сейчас вырубит. И впился ногтями в ладонь, ту самую, что поймала огонь, заставляя себя держаться на боли, как держался когда-то на ногах третьи сутки без сна над столом.

Потом отпустило. Резко, будто обрезали.

Глеб стоял на одном колене, мокрый от пота, дышал, как загнанная лошадь. А в груди, рядом с тусклым угольком Зерна, теперь лежало что-то новое. Свёрнутое, горячее, чужое.

Огненная Печать. Та самая. Ослабленная вдвое, ободранная по краям. Но его.

Он медленно поднял голову.

Щёголь стоял белый как мел и смотрел на свою трость. Огня на ней не было. И марево вокруг него больше не дрожало. Глеб видел это теперь ясно, новым, проснувшимся чутьём. Одарённый стал пуст. Глеб не поймал его огонь. Он забрал его. Выдрал Печать с корнем.

– Что... – прохрипел щеголь, пятась. – Что ты сделал. Где моя Сила. Что ты такое?!

Глеб поднялся. Качнулся, оперся о стол. Сил почти не осталось, откат выпил досуха, ноги дрожали. Но он встал. И поднял руку, ту самую. На раскрытой ладони, повинуюсь его воле, неуверенно, криво, вспыхнул маленький рыжий огонёк.

Чужой огонь. Теперь его.

– Я же сказал, – выговорил Глеб, тяжело дыша, и голос вышел хриплый, но твёрдый. – Плохая у тебя работа. Бесперспективная.

В углу Демьян медленно опустил наполовину вынутый палаш. И смотрел на своего юного барина так, будто видел впервые. А может, и правда впервые.

Глава 2 Рыжуля

Не сразу. Сперва он стоял, разевая рот, как вытащенная на лёд рыба, и переводил взгляд с пустой трости на огонёк в ладони мальчишки. Потом что-то в его сытом лице сломалось, и он, забыв про достоинство, про трость, про хозяйское поручение, кинулся к двери. Перепрыгнул через напарника, что всё ещё сидел на полу, держась за разбитый нос, и вылетел во двор. Второй мордоворот рванул следом, не дожидаясь команды.

В столовой остался только первый, тот, кого Глеб уложил. Он мычал и пытался встать на четвереньки. Демьян, не говоря ни слова, шагнул к нему, взял за шиворот и поволок к выходу, как мешок с мукой.

– И чтоб духу вашего тут не было, – прогудел десятник, выбрасывая мордоворота в снег. – Передай хозяину. Пришлёт ещё кого – назад тот не вернётся.

Дверь захлопнулась. Стало тихо.

Глеб опустил на стул. Точнее, упал, ноги не держали. Огонёк он давно погасил, но рука ещё дрожала, и в груди ныло так, будто там и вправду что-то зашивали на живую. Откат. Цена. Дар брал плату, и плата была честной, по-крупному.

Он сидел, дышал и слушал себя. Теперь уже как врач, склонившийся над собственным телом. Разбирал, что произошло.

Дыра в груди – не пустота. Это орган. Голодный орган, который умеет одно: забирать чужую Печать. Не копировать, а забирать. Тот щёголь теперь пуст, как был пуст сам Глеб ещё час назад. Бездарь сделал бездарём другого.

«Хорошо, – думал Глеб, морщась от пульсирующей в груди боли. – Допустим. Что я с этого имею и чем плачу».

Имею чужую огненную Печать. Ослабленную, кривую, он чувствовал, что она вполтину слабее, чем была у прежнего хозяина, будто при переносе половина выгорела. Но она его. И он, никогда не имевший своей стихии, теперь может зажечь огонь.

Плачу болью на грани отключки и откатом, который высосал силы досуха. Будь щёголь рангом выше, Скала, к примеру, Глеб, пожалуй, не выдержал бы переноса. Сгорел бы изнутри. Это надо помнить. Это предел.

И ещё одно, самое тревожное. Он прислушался к груди внимательнее. Зерно, тусклый уголёк, лежало на месте. А рядом свернулась новая Печать. И места рядом было немного. Глеб не знал, как объяснить это ощущение, но чувствовал ясно: его голодный орган не бездонный. Туда не набьёшь сколько влезет. Две Печати, три – и переполнится. А что будет при переполнении, проверять не хотелось. По тому, как ныло в груди от одной-единственной, было понятно: ничего хорошего.

Значит, не жадничать. Брать с умом. Не отбирать у каждого встречного, а выбирать. Что и у кого.

– Глеб Андреич. – Прохор стоял рядом, белый, трясущийся, со сложенными у груди руками. – Глеб Андреич, что ж это было. У вас же Сила. Откуда?

– Вода, Прохор, – сказал Глеб, не открывая глаз. – Принеси воды. И поешь, если осталось что. Мне сейчас надо много пить и есть.

Тело требовало восполнения, как после большой кровопотери, и он слушал тело. Старик умчался.

А Демьян, вернувшись со двора и отряхивая снег с рук, подошёл, развернул стул и сел напротив. Прямо, уперев ладони в колени. И посмотрел на Глеба долгим тяжёлым взглядом старого воина, который повидал на веку много, а такого не видел.

– Я тридцать лет при роде, – сказал он медленно. – При деде вашем служил, при отце. Видал, как быются одарённые. Огонь, лёд, камень, всякое видал. – Он помолчал. – А такого не

видал. Чтоб чужую Печать рукой из человека вынуть, будто занозу. Это, Глеб Андреич... – Он понизил голос, оглянулся на дверь, словно стены могли подслушать. – Это не простой дар. Об таком и не слыхивали. А о чём не слыхивали, того бояться. И за тем приходят.

– Знаю, – тихо сказал Глеб.

И правда знал. Чувствовал нутром, тем чутьём, что не раз спасало его в прошлой жизни. То, что он сделал, – это не редкий талант, которому позавидуют. Это аномалия, которую захотят либо запереть, либо использовать, либо уничтожить. Он видел такое с людьми. Теперь сам стал таким.

– Демьян. Кто в этом городе знает про Силу больше всех? Не про боярские понты, а про саму Силу. Про Печати, про ранги, про то, чего быть не может. Кто?

Десятник подумал.

– Орден, – сказал он наконец, неохотно. – Орден Печатников. Это они решают, чья Сила законная, а чья порча. Печати читают, как вы вон бумагу давеча прочли. Только к ним не ходят, барин. К ним попадают. И не возвращаются, ежели Печать не приглянулась. Так что про ваш дар Ордену знать незачем. Никогда. Слышите?

Глеб кивнул. Орден Печатников. Те, кто читает Печати и решает, кому жить с такой Силой, а кому нет. Его дар им очень, очень не понравился бы. Отложил. Запомнил.

– А по-тихому? – спросил он. – Не Орден. Кто-то сведущий, но не из тех, кто потащит меня на костёр. Знахарь, отшельник, старый мастер на покое. Кто-то, кто много повидал и держит язык за зубами.

Демьян поскрёб седую щетину.

– Есть одна, – сказал он медленно. – В Нижнем городе. Старуха. Кривой Аглаей кличут. Травница, костоправка, а поговаривают, и в Силе разбирается, будто сама из Печатников была когда-то, да ушла. К ней весь Нижний город ходит лечиться. И боярскую хворь штопает, и поножовщину, имён не спрашивает. Молчунья. За молчание её и держат. – Он прищурился. – Только Нижний город, барин, место недоброе. Туда без провожатого нельзя. А провожатого там ещё найти надо.

Нижний город. Кривая Аглая. И это пока подождёт – не до того.

Вернулся Прохор с кувшином воды, краюхой хлеба и куском сала, последним, что было в доме. Глеб пил жадно, ел жадно, чувствуя, как тело понемногу перестаёт дрожать, как откат отпускает. Молодое тело восстанавливалось быстро. Это был плюс. Большой плюс.

И пока он ел, в голове складывался план. Холодный, по пунктам, как складывался когда-то план операции.

Долг послезавтра. Триста рублей, которых нет. Сегодня он отбил наскок и нажил врага. Зунделевич, узнав, что бездарь не только не подписал отказную, но и обезличил его одарённого, не отступит. Он испугается. А от испуга ударит сильнее. Пришлёт уже не троих. Значит, до послезавтра надо не отсидеться, а решить вопрос с долгом по корню. С самим ростовщиком.

А для этого надо понять, кто стоит за Зунделевичем. Та самая рыба в тени, которой нужна земля. И почему она ей нужна. Что в этой земле такого, отчего Зерно качается, стоит подумать про подвал.

Цепочка выстраивалась сама. Земля ведёт к Зунделевичу. Зунделевич к рыбе в тени. А сбоку, отдельной ниточкой, Нижний город, Кривая Аглая, которая, может, объяснит, что за дар проснулся у него в груди.

Многовато для одного дня. Но Глеб умел делать многовато. Двадцать лет умел.

– Демьян, – сказал он, дожёвывая. – Завтра с утра ведёшь меня в Нижний город. К Аглае. И ищем провожатого по дороге. – Он встал, и на этот раз ноги держали почти твёрдо. – А сегодня мне надо проверить одну догадку. Прохор, носи свечу. Идём в подвал.

– Опять подвал, барин, – заохал старик. – Да что вам там неймётся, сырость одна.

– Сырость и крысы, – кивнул Глеб. – Помню. Вот и проверим, одни ли там крысы.

Потому что когда он встал и сделал шаг к двери, ведущей вниз, в подклеть, тёплая тяжесть в его груди качнулась снова. Сильнее, чем утром. Будто Зерно тянулось туда, под землю. К чему-то, что лежало глубоко. И ждало.

Лестница в подвал была крутой и выщербленной. Прохор спускался первым, заслоняя свечу скрюченной ладонью от сквозняка.

Подклеть оказалась больше, чем ждал Глеб. Низкие сводчатые потолки, кирпичные столбы, земляной пол. Пахло сыростью, плесенью и остывшим камнем. По углам рухлядь: рассохшиеся бочки, поломанная мебель, ржавый хлам, который не продали, потому что и даром не возьмут. Из-под ног прыснули крысы, мелькнули в темноте.

Демьян шёл последним, положив руку на палаш, и зыркал по углам. Глеб шёл в середине и слушал не ушами. Грудью.

Зерно тянуло. Чем глубже они спускались, чем дальше уходили вглубь подвала, тем настойчивее становилась тяга. Ровная, как стрелка к северу. Глеб закрыл глаза, доверился ей и пошёл, ведя ладонью по холодной кирпичной стене.

– Сюда, – тихо сказал он.

Тяга вела в дальний угол, к глухой стене, заваленной хламом. Демьян, не спрашивая, принялся растаскивать рухлядь. Бочки, доски, остов телеги. За ними открылся кусок стены, ничем не отличавшийся от прочих. Старая кирпичная кладка, потемневшая от времени.

Но Зерно билось теперь так, что Глеб прижал ладонь к груди. А когда поднёс другую руку к кирпичам, тяга стала почти болезненной.

– Здесь, – сказал он. – За этой стеной что-то есть. Демьян, она несущая?

Десятник постучал костяшками, прислушался, провёл рукой по швам.

– Нет, барин. Тонкая. Заложена позже, кладка другая. Будто замуровали что-то.

– Ломай.

Демьян взял из хлама ржавый лом и без лишних слов ударил. Кирпич был старый, но раствор крошился легко, кладку и впрямь делали наспех. Несколько ударов, и в стене образовалась дыра, дохнувшая на них спёртым древним воздухом, какого не тревожили лет сто. Прохор поднёс свечу.

За стеной была ниша. Маленькая, в рост человека, выложенная гладким, не здешним камнем. Тёмным, с прожилками, будто чешуёй. А в нише, на каменном основании, лежало нечто.

Глеб шагнул ближе. И задохнулся. Не от вида. От того, что Зерно в груди отозвалось так, что подкосились колени.

Камень. Гладкий, тёмный, размером с два кулака, неправильной формы, будто застывшая капля. И внутри него, в самой глубине, теплился свет. Слабый, тусклый, как уголёк под золой. Точь-в-точь как Зерно в его собственной груди.

– Что это, – выдохнул Прохор. Свеча дрожала в его руке.

Глеб не ответил. Он смотрел на камень и понимал. Не разумом, разум молчал. Той частью себя, что проснулась сегодня вместе с голодным органом в груди.

Это был Источник. Или то, что от него осталось. Спящий, угасающий, замурованный кем-то из предков в подвале родового дома. Затем, чтобы его не нашли. Не отняли. Глеб вспомнил герб Калитиных. Ключ. Род-сторож. Они стерегли не казну и не сокровище. Они стерегли вот это.

И за этим второй год тянулась рука из тени. Зунделевич, отказная на землю, рыба в тени. Им нужен был не дом и не земля сверху. Им нужно было то, что под ней. То, на что Глеб сейчас смотрел.

– Демьян, – сказал он очень тихо, не отрывая глаз от тусклого света в камне. – Теперь я знаю, чего они хотят. И, кажется, знаю, почему убили отца с матерью.

Старый воин за его спиной медленно, страшно выдохнул.

– Так это правда был не несчастный случай. Я сердцем чуял.

– Правда.

Глеб наконец оторвал взгляд от камня и повернулся к старикам. Лицо его было спокойным, но в глазах, в старых, чужих, сорокалетних глазах на юном лице, стояло что-то, от чего даже Демьян выпрямился.

– Им нужна была земля, чтобы добраться сюда. Отец не отдал, и его убрали. Долги, отказная, пристав, всё это только чтобы отнять то, что отдавать нельзя. Только они не знали одного.

Он шагнул к нише и осторожно, двумя руками, как берут спящего ребёнка, поднял камень с основания. Тот был тёплым. И тяжёлым не по размеру. Тяжёлым, как тяжела бывает суть.

– Они не знали, что у последнего Калитина в груди теперь то же, что в этом камне. И что бездарь, которого они списали, единственный, кто понимает, на чём стоит весь этот дом.

Зерно в груди Глеба и свет в камне качнулись навстречу друг другу. И впервые с тех пор, как он очнулся в этом мире, тусклый уголёк его Силы дрогнул. Стал чуть ярче. Будто узнал родню.

– Прохор. Про подвал и про это ни одной живой душе. Никогда. Понял?

– Понял, барин, – прошептал старик. – Нем как могила.

– Демьян. Завтра в Нижний город идём не только из-за моего дара.

Глеб двинулся к лестнице, пряча камень за пазуху, к самой груди. И голос его в темноте подвала звучал ровно и твёрдо, как у человека, который наконец понял, во что ввязался, и решил идти до конца.

– Мне нужно много узнать. Что это за камень. Что за дар у меня. И кто та рыба, что прячется за спиной ростовщика. Потому что теперь это не про долг и не про дом. Теперь это про то, за что убили моих родителей. А такие долги я привык отдавать сполна.

Он поставил ногу на первую ступеньку и оглянулся на тёмную нишу. Тёплый камень у груди бился в такт его сердцу. Два уголька, старый и новый, нашедшие друг друга в темноте под мёртвым домом.

Наверху, во дворе, скрипнул снег.

Демьян замер, вскинул руку. Все трое застыли на лестнице, вслушиваясь.

Шаги. Одни, лёгкие, осторожные. Кто-то крался по двору к дому. Не как мордовороты Зунделевича, шумно и нагло, а тихо, умело. Так ходит тот, кто не хочет быть услышанным.

Глеб задул свечу.

– Тихо, – выдохнул он. – У нас гость

Гость был один. Это Глеб понял по шагам - лёгким, частым, осторожным. И понял ещё кое-что: гость не знал, что в доме не спят.

Они стояли на лестнице в полной темноте. Демьян впереди, заслонив барины широкой спиной, палаш уже вынут наполовину и не лязгнул при этом - старый вояка знал, как обнажать клинок тихо. Прохор сзади, прижавшись к стене, дышал через раз. Глеб в середине слушал, как наверху, в столовой, скрипнула половица. Потом другая. Гость шёл не к двери. Гость уже был внутри.

Влез через окно, понял Глеб. То, что мордоворот разбил утром, так и не заколотили. Аккуратно влез. Без шума.

В темноте над лестницей качнулся слабый отсвет. Не свеча. Что-то тусклее, прикрытое ладонью, чтобы не выдать. Воровской огонёк. Гость искал. Шарил по пустой столовой, по тем углам, где у нормальных людей хранится хоть что-то ценное.

Демьян напрягся, готовый рвануть наверх. Глеб поймал его за локоть. Сжал. Подожди.

Он сам не знал, почему остановил десятника. Может, потому, что вор, лезущий в дом, где и красть-то нечего, - это не убийца, подсланный рыбой в тени. Убийцы так не ходят. Убийцы

приходят с уверенностью людей, которым заплатили. А этот шарил по углам тихо и жадно, как тот, кто пришёл по нужде, а не по приказу. Голодный, а не наёмный.

И ещё. Глебу нужен был провожатый в Нижний город. А кто знает Нижний город лучше того, кто этим живёт?

– Прохор, – шепнул он на самое ухо старику. – Когда скажу, зажги свечу. Не раньше.

Он отпустил Демьяна, скользнул мимо него – тело Глеба было лёгким, и в кои-то веки это пригодилось, – и поднялся по оставшимся ступеням так тихо, как умел. А умел он неплохо: военный медик, который двадцать лет ходил по палаткам между спящими ранеными, не разбудив, ходить умеет.

Он вынырнул из проёма подвальной двери и увидел гостя.

Тот стоял спиной, склонившись над столом, и шарил рукой по столешнице в поисках хоть чего-нибудь. Тонкая фигурка, ниже Глеба на голову. Дранный полушубок с чужого плеча. А из-под сбитого на затылок платка выбивались волосы – рыжие даже в тусклом воровском огоньке, который гость держал в прикрытой ладони.

– Ищешь чего-то конкретное, – спросил Глеб ровно, – или так, наугад?

Дальше всё случилось быстро.

Гость крутанулся на месте с той звериной скоростью, какая бывает у тех, кого жизнь много раз ловила за руку. Огонёк погас. В темноте свистнуло – нож, понял Глеб по звуку, не глядя, метнули туда, где он стоял. Но он уже сместился вбок, ещё когда говорил, старая привычка не стоять там, откуда раздаётся твой голос. Лезвие воткнулось в дверной косяк за его спиной.

– Прохор, свет! – сказал Глеб.

Старик чиркнул, и каморка осветилась дрожащим жёлтым.

В трёх шагах от Глеба, прижавшись спиной к стене, стояла девушка. Молодая, лет восемнадцати-двадцати, не разобрать в этой худобе и грязи. Рыжая, остроносая, с цепким злым взглядом загнанного зверька. В руке у неё блеснул второй нож – короткий, узкий, явно не первый и не последний. Она держала его умело, низко, лезвием вдоль предплечья. Не пугала. Готовилась резать.

– Один шаг, и вспорю, – выдохнула она. Голос был хриплый, но не сорвавшийся. Она боялась, но держала страх в кулаке.

За спиной Глеба из подвала поднялся Демьян, и палаш его теперь был обнажён до конца, тускло отсвечивая. Девушка стрельнула в него глазами, оценила, и Глеб увидел, как просчитанная злость в её взгляде дрогнула. Она поняла, что попалась. Окно за спиной далеко, у двери старый вояка с клинком, и не убежать.

Тут она и сделала то, что Глебу понравилось. Не заскулила, не бросила нож, не стала врать про то, что заблудилась. Она вздёрнула острый подбородок и сказала зло, в лицо:

– Ну? Чего встали? Режьте уже или зовите стражу. Только знайте, прежде чем я к стенке отойду, кому-нибудь из вас руку точно распишу. Выбирайте кому.

Демьян шагнул вперёд, но Глеб снова остановил его. И сделал то, чего ни девушка, ни старики не ждали.

Опустился на табурет напротив неё. Спокойно. Так, будто к нему зашла гостя, а не воровка с ножом. Положил руки на колени, открыто, на виду.

– Руку никому расписывать не будешь, – сказал он. – И к стенке не отойдёшь. Сядь. Разговор есть.

Девушка моргнула. Нож в её руке не дрогнул, но в глазах мелькнуло замешательство. Она ждала чего угодно – драки, крика, стражи, – но не того, что битый барчук сядет напротив и заговорит с ней, как с человеком.

– Чего тебе надо, – процедила она, не опуская ножа.

– Сперва ты скажи. Что искала в доме, где и мыши с голоду подохли?

Девушка молчала, кусая обветренную губу. Глеб ждал. Он умел ждать. В операционной иногда только и остаётся, что ждать, пока тело само покажет, что с ним. И с людьми так же.

– Жрать искала, – сказала она наконец, глухо и зло, будто сплюнула. – Думала, у боярья хоть в кладовке чего завалилось. Хлеб, сало. Я ж не знала, что вы тут сами на крысах сидите.

Глеб смотрел на неё и видел всё. Не Силу – в ней, кажется, не было ни искры дара. Видел то, что умел читать всегда. Кости, обтянутые кожей. Запавшие щёки. Дрожь в руке, которую она выдавала за боевую, а была это дрожь голодная. И ещё видел – синяк под глазом, старый, и свежую ссадину на скуле. Эту девчонку били. Недавно и не раз.

Медик в нём поставил диагноз раньше, чем человек успел подумать. Истощение, недели две на грани – кожа сухая, дёсны, наверное, кровят. Рёбра считаются под рубахой. Побои не разовые: ссадина свежая, а под глазом синяк уже желтеет, сходит – били не вчера и не впервые. Возраст меньше, чем кажется по злости. Злость ей не по годам, её нарастила жизнь.

– Демьян, – сказал Глеб, не оборачиваясь. – Убери палаш.

– Барин...

– Убери. Она нож тоже сейчас уберёт. Правда? – Он посмотрел девушке в глаза. – Потому что человек, который пришёл за хлебом, а не за горлом, ножом не работает. Он им только пугает. А пугать тут больше некого.

Долгая секунда. Потом девушка медленно, не доверяя, опустила нож. Не убрала, но опустила. Демьян, скрипнув зубами, вложил палаш в ножны.

– Прохор, – сказал Глеб. – У нас ещё осталась та краюха? И сало?

– Половинка, барин. Я на утро берёг...

– Неси.

Старик, ворча, принёс. Глеб взял хлеб с салом и протянул девушке. Просто протянул, через стол, на раскрытой ладони. Как протягивают руку пугливому животному.

Она смотрела на еду, потом на него. В рыжей голове, Глеб видел это ясно, билась одна мысль: подвох. Где подвох. Не бывает, чтобы вот так. За еду всегда платят, и обычно тем, чего у такой, как она, и просят.

– Бери, – сказал он спокойно. – Без условий. Просто ешь. Поговорим, когда перестанешь дрожать.

И она взяла. Выхватила, как зверёк, и впилась зубами, давясь, не сводя с него настороженных глаз. Ела быстро, некрасиво, по-голодному, и Глеб не отворачивался – не из любопытства, а чтобы она видела: на неё смотрят без брезгливости. Он за двадцать лет навидался, как едят те, кто долго не ел. В этом нет ничего стыдного. Стыдно тем, кто довёл.

Демьян стоял у стены, хмурый, ничего не понимающий. Прохор – в дверях, с той же растерянностью. Их барин, которого ещё вчера они держали за пропащего мальчишку, второй раз за день делал то, чего от него никто не ждал. Утром выдрал Силу из одарённого. А теперь кормил с руки воровку, которая минуту назад метнула в него нож.

А Глеб просто ждал, пока человек насытится. Потому что с сытым человеком можно говорить. С голодным – только воевать.

Доев, девушка отёрла рот тыльной стороной ладони и впервые посмотрела на Глеба без злости. С опаской, с недоверием, но без злости.

– Таисья, – сказала она вдруг. – Звать так. Раз кормишь, так хоть знай, кого.

– Глеб. А это Демьян и Прохор. – Он кивнул на стариков. – Теперь, Таисья, слушай. У меня к тебе дело. И, кажется, оно нам обоим в прибыль.

Она напряглась снова. Дело. Вот и подвох выплывает.

– Какое ещё дело.

– Мне завтра нужно в Нижний город. К одной старухе, Кривой Аглае. Слыхала про такую?

Что-то изменилось в лице Таисьи. Имя Аглаи она знала, это было видно. И знала с уважением, какое в Нижнем городе берегут для немногих.

– Знаю Аглаю, – осторожно сказала она. – Все знают. Тебе-то она зачем, барчук? Хворь какая? Так ты вроде целый.

– Это моё дело, зачем. Твоё дело – довести. Нижний город я не знаю, а один туда сунуться – дурак. Мне нужен провожатый. Свой. Который знает, где ходить, а где не ходить, и кому в глаза не смотреть. Доведёшь до Аглаи и обратно – получишь плату.

– Чем платить-то будешь, – усмехнулась она криво, обводя глазами голые стены. – У вас тут платить нечем. Сам же на крысах сидишь.

Глеб помолчал. Потом сказал то, что решил, пока смотрел, как она ест:

– Едой. Крышей. Местом, где не бьют.

Таисья замерла. Усмешка сползла с её лица.

– Чего?

– Тебя бьют, – сказал Глеб ровно, как говорят очевидное. – Видно по ссадинам. И голодаешь так, что лезешь в дом, где красть нечего. Значит, там, откуда ты, совсем худо. Хуже, чем здесь. А здесь, видишь, тоже не дворец. Зато, – он чуть качнул головой в сторону Демьяна и Прохора, – тут тебя бить никто не станет. Тут вообще мало кто остался. Лишние руки нам не помешают, а лишний рот мы как-нибудь прокормим. Не салом, так чем найдём.

Он не давил. Просто положил перед ней выбор, как кладут перед раненым честный расклад: вот так будет больно, но ты выживешь, а вот так – легче сейчас, да померёшь. Пусть выбирает сама. Он давно понял, что люди держатся только за то, что выбрали сами.

В каморке стало тихо. Таисья смотрела на этого странного барчука с глазами старше лица, и Глеб видел, как в ней борется недоверие со звериной, забитой, почти задушенной надеждой. Так смотрит тот, кому слишком часто ввали, чтобы поверить с первого раза.

– Почему, – выдавила она наконец. – Почему ты. С чего вдруг. Я ж тебя обокрасть пришла. Нож кинула.

– А я тебе скажу почему, – Глеб подался чуть вперёд. – Потому что мне завтра идти в недоброе место, и мне нужен рядом человек, который умеет выживать там, где не выживают. Ты в дом залезла тихо, ножом работаешь не первый раз, по углам шарить с умом. Ты не дура и не трусиха. Голодная и битая, но не сломанная. Такие мне и нужны. А что обокрасть пришла – так с голодухи святых не бывает. Я зла не держу.

Он не сказал главного. Того, что понял ещё в подвале, прижимая к груди тёплый камень. Что отныне дом Калитиных будет собирать не союзников по расчёту, не наёмников, а своих. Тех, кому больше некуда идти и кто потому будет держаться. Старик. Старый вояка. А теперь, может, и рыжая воровка. Не сила и не деньги – этого у него пока не было. Люди. С людей всё и начинается.

Таисья долго молчала. Потом сунула нож за голенище – тот самый, что метнула в него, – и сказала хрипло, отводя глаза, будто стыдясь собственного согласия:

– До Аглаи доведу. И обратно. А там поглядим. Только учти, барчук, – она ткнула в него пальцем, – обманешь – ночью приду и распишу всё-таки. Я злопамятная.

– Договорились, – сказал Глеб и впервые ей улыбнулся. Коротко, одними губами. – Демьян, постели ей в людской, рядом с моей каморкой. Прохор, утром собери, что есть на дорогу. Выходим затемно.

Таисья смотрела, как старики, поворачив, расходятся выполнять, и не могла взять в толк, что сейчас произошло. Час назад она лезла в окно за коркой хлеба. Теперь у неё была крыша, угол и место, где не бьют. И странный барин, который кормит с руки и говорит с воровкой, как с человеком.

Подвох наверняка был. Подвох всегда был. Но впервые за долгое время Таисья не могла его нащупать. И это пугало её сильнее ножа у горла.

А Глеб, оставшись один в своей каморке, сел на топчан и достал из-за пазухи тёплый камень. Тусклый свет в его глубине бился ровно, в такт сердцу. Завтра он отнесёт его к той, что, может, объяснит, что это. И что за дыра проснулась у него в груди.

Он прислушался к ней. К голодному органу. Тот молчал, насытившись одной-единственной огненной Печатью, но Глеб уже знал: молчит до поры. Захочет ещё. И тогда придётся решать, у кого брать.

Он убрал камень обратно за пазуху и лёг не раздеваясь, по фронтовой привычке.

А за тонкой стенкой, в соседней каморке, долго не спала рыжая Таисья. Сжимала под тощим одеялом рукоять ножа, вслушивалась в тишину чужого дома – и не могла понять, отчего ей впервые за год не страшно.

Глава 3 Мёртвые не подписывают

Вышли затемно, как и сказал Глеб.

Утро было сизым и стылым. Над городом висел тот плотный зимний туман, что глотает звуки и съедает очертания, оставляя только ближнее. Газовые фонари на богатых улицах ещё горели, роняя в муть жёлтые пятна, но чем дальше от центра уводила Таисья, тем реже становились фонари, а потом и вовсе пропали.

Глеб шёл за рыжей, держа руки в карманах старого отцовского пальто и пряча под ним, у самой груди, тёплый камень. Демьян двигался чуть сзади и сбоку, привычно прикрывая барину спину, и палаш под его кафтаном Глеб скорее угадывал, чем видел. Прохора оставили дома: старику такая дорога была не по ногам, да и за домом приглядеть надо.

Таисья вела уверенно. Она преобразилась со вчерашнего – сытая, выпавшаяся в тепле, она шагала пружинисто, и в каждом её движении читалось знание этих мест до последней подворотни. Здесь, в своём городе, она была не загнанным зверьком, а хозяйкой троп.

– За мной след в след, – бросила она через плечо, когда дома вокруг стали ниже, кривее и теснее. – И рот закрытым держи, барчук. Тут поговору сразу слышно, кто чужой. А чужих тут не любят.

Нижний город начался незаметно. Просто в какой-то момент мостовая кончилась, и под ногами захлюпала мёрзлая грязь вперемешку со снегом. Дома сгрудились, навалились друг на друга, подперлись кривыми балками. Окна затянуты бычьим пузырём вместо стекла, из щелей сочился дым. Пахло помоями, дёгтем, варевом из чего попало и ещё чем-то кислым, чему Глеб не сразу подобрал название, а подобрав, поморщился: так пахнет нищета, в которой живут вповалку.

Люди здесь были под стать. Закутанные в тряпье фигуры жались по стенам, провожали троицу взглядами – быстрыми, оценивающими, голодными. Глеб ловил эти взгляды и читал их привычно: вот этот прикидывает, можно ли срезать кошель. Этот – больной, кашляет кровью, не жилец до весны, чахотка в последней поре. А вот эти двое у стены – не нищие, нищие так не стоят. Эти стерегут проход.

Он отметил всё и не подал виду. Военный медик, который ходил по прифронтовым деревням, где половина населения – дезертиры да мародёры, умеет идти сквозь недоброе место так, чтобы не выглядеть ни жертвой, ни вызовом.

– Спокойно, – тихо сказал Демьян сбоку, заметив тех двоих у стены. – Не наша забота. Идём дальше.

Двое у стены проводили их взглядами, оценили старого вояку с прямой спиной, рыжую, которую, видно, знали, и связываться не стали. Таисья свернула в проулок, такой узкий, что Демьяну пришлось идти боком, потом в другой, потом нырнула под низкую арку, и они вышли к покосившемуся дому, вросшему в землю по самые окна.

Над дверью висел пучок сухих трав и козий череп. Из трубы тянулся дымок – не такой, как везде, а зеленоватый, пахнувший горькими снадобьями.

– Пришли, – сказала Таисья и понизила голос. – Аглая. Барчук, слушай сюда. Со старухой говори вежливо и прямо. Юлить начнёшь – выгонит. Врать начнёшь – тем более. Она враньё носом чует, как собака зайца. И денег вперёд не суй, обидится. Сама скажет, чего ей надо за работу.

Глеб кивнул. Полезный человек эта рыжая. Знает не только тропы, но и людей на них.

Он постучал. Не сразу, дав себе секунду собраться, как собирался перед тем, как войти к тяжёлому больному.

Изнутри долго молчали. Потом скрипучий голос, не старушечий-дребезжащий, а сухой и твёрдый, произнёс:

– Открыто. Кто с железом – железо у порога оставь. В дом с обнажённым не пущу.

Демьян переглянулся с Глебом. Тот кивнул. Десятник, помедлив, отстегнул палаш и приклонил к стене у двери. Безоружным ему было явно не по себе, но он подчинился.

Они вошли.

Внутри было тесно, тепло и сумрачно. С низкого потолка свисали пучки трав, связки корней, тёмные склянки. На полках теснились горшочки и банки. В углу, в очаге, варилось то самое зеленоватое, дававшее горький дух. А у очага, на табурете, сидела старуха.

Кривой её прозвали за лицо: левую половину когда-то стянуло ожогом или ударом, и глаз с той стороны был полуприкрыт мёртвым веком. Зато правый глаз смотрел остро, ясно и так пронзительно, что Глеб сразу понял – Демьян не преувеличил. Эта старуха видела людей насквозь. Не Силой даже. Опытом, какой бывает у тех, кто прожил долго и злую жизнь.

Глеб скользнул по ней привычным взглядом и отметил, чего не сказал вслух: ожог на лице старый, лет тридцати, зажил скверно, без ухода – стягивающий рубец, какой остаётся, когда рану не лечат, а просто пережидают. И веко не само опустилось – мышцу под ним повредило тем же, что и кожу. Эту женщину когда-то жгли. Не пожар. Жгли намеренно.

– Рыжая, – сказала Аглая, не вставая. – Давно тебя не было. Никак прибилась к кому. И к кому же. – Единственный острый глаз перешёл на Глеба, обежал его всего, от разбитой брови до прижатой к груди руки. – Боярчик. Молодой. Битый. И прячет что-то под пальто, у самого сердца. Грудью прячет, не карманом. Стало быть, дорогое. – Глаз сузился. – Чего тебе, боярчик? Хворь не вижу. Здоров, хоть и тощ. Значит, не лечиться пришёл.

Глеб не стал юлить, как и советовала Таисья.

– Не лечиться. Пришёл узнать. Мне сказали, ты в Силе понимаешь больше, чем целый Орден. И что молчать умеешь. Мне нужно и то, и другое.

Старуха молчала, разглядывая его единственным глазом. Потом перевела взгляд на Демьяна, на Таисью.

– Выйдите, – сказала она. – Оба. Пойдите за дверь. То, что боярчик пришёл узнавать, не для лишних ушей. И не для верных тоже. Верных-то особенно беречь надо.

Демьян набычился, но Глеб кивнул ему: иди. Десятник вышел, недовольный. Таисья задержалась на пороге, стрельнула в Глеба любопытным взглядом – что же такое прячет барчук, чего даже своим знать нельзя, – но тоже вышла.

Они остались вдвоём.

– Показывай, – сказала Аглая. – То, что под пальто. И то, что в груди. Я уж вижу, что у тебя там не одно сердце стучит.

Глеб медленно расстегнул пальто и достал камень. Тусклый свет в его глубине качнулся, и старуха подалась вперёд, впившись в него единственным глазом. Лицо её, и без того перекошенное, застыло.

– Господи Силы, – прошептала она, и впервые в скрипучем голосе дрогнул не страх, нет, благоговение. – Осколок Источника. Живой ещё. Спящий, но живой. Где ты взял такое, мальчик? За такое в этом городе режут целыми родами.

– Знаю, – тихо сказал Глеб. – Уже режут. Это лежало под моим домом. Замуровано. Мой род его стерёг, видно, поколениями. А теперь за ним пришли.

Аглая оторвалась от камня и подняла на Глеба глаз. И что-то в этом взгляде переменялось – острая цепкость осталась, но добавилось другое. Опаска. Будто старуха, выдавшая всё, наткнулась на то, чего давно боялась увидеть.

– Это полбеда, мальчик. Осколок – вещь страшная, но понятная. За него убивают, его прячут, его ищут. Это я знаю. А вот второе твоё сердце. – Она протянула сухую руку, не касаясь, и повела ладонью у его груди, будто грея о невидимый огонь. – Дай-ка я гляну, что у тебя там вместо Печати. Стой смирно. Будет тянуть – терпи.

Глеб стоял смирно. Старуха закрыла здоровый глаз, и её ладонь, висящая в вершке от его груди, мелко задрожала. В груди Глеба отозвалось – не болью, тянущим холодком, будто кто-то осторожно заглядывал в голодный орган, не трогая.

Долго ничего не было. Потом Аглая отдёргнула руку, как от раскалённого, и отшатнулась так, что чуть не упала с табурета. Здоровый глаз распахнулся, и в нём стоял ужас. Настоящий, древний.

– Перенятие, – выдохнула она. – Глотающая Печать. Господи, я думала, их всех извели ещё при прадедах. Думала, не осталось ни одного носителя на всём свете.

– Что это, – спросил Глеб ровно, хоть внутри всё подобралось. – Говори прямо, бабка. Я за прямотой и шёл.

Старуха перевела дыхание. Налила себе из кувшина мутной воды, выпила, унимая дрожь в руках. И заговорила – тихо, быстро, оглядываясь на дверь, будто и стены тут могли донести.

– Слушай и запоминай, боярчик, потому как дважды я этого не скажу, и никто тебе больше не скажет, кроме разве палача из Ордена перед тем, как тебя на костёр свести. Есть Печати стихий – огонь, лёд, камень, прочие. Их большинство, они законные. Есть Печати редкие, диковинные, но дозволенные. А есть запретные. Те, что не дают, а берут. Твоя – из таких. Худшая из всех. Перенятие. Глотающая.

Она ткнула пальцем в его грудь.

– Ты не творишь Силу, как все. У тебя своей и нет почти, Зерно с горошину. Ты жрёшь чужую. Отнимаешь Печать у того, кого одолел, и носишь в себе. Я права? По лицу вижу, что права, уже попробовал. И почувал, небось, что много не унесёшь, что нутро переполняется. Так?

– Так, – сказал Глеб.

– То-то. Носитель Перенятия – живой склад чужой Силы. И этим страшен. Потому их и извели. Орден таких жжёт без суда, едва учуют. Знаешь почему?

Глеб молчал, ждал.

– Потому, – наклонилась к нему старуха, и голос её упал до шёпота, – что носитель Глотающей Печати может сожрать кого угодно. Любого мастера, любого князя Силы, любую Твердь – дай только одолеть да коснуться. И стать сильнее всех. Один такой может сожрать целый боярский род и взять себе всю их Силу. Один. Понимаешь, чем ты стал, мальчик? Ты не просто бездарь с диковинкой. Ты то, чего бояться даже Великие Дома. Оружие, которое ходит само и решает само, кого ему съесть.

В лачуге повисла тишина. Только булькало зеленоватое варево в очаге да потрескивал огонь.

Глеб смотрел на старуху и думал. Холодно и ясно, как всегда, когда работа важнее страха. Значит, вот оно что. Не редкий талант. Не удача. Приговор и оружие в одном. Дар, за который Орден сожжёт без разговоров. И за который любой из тех, кто охотится за его осколком, удавится, чтобы прибрать к рукам или уничтожить.

– А цена, – спросил он наконец. – У всякой Силы есть цена. Я уже понял, что глотать больно и что много не унесу. Что ещё? Чем платит носитель?

Аглая посмотрела на него долго. И впервые её перекошенное лицо тронуло что-то похожее на уважение.

– Умный вопрос, боярчик. Сразу видно, не мальчишка спрашивает, кто-то постарше у тебя за глазами сидит. Не знаю, кто, и не спрашиваю. Цена есть, и страшная. Только об ней, – она глянула на дверь, – не тут. Приходи один, без своих, когда осколок припрячешь понадежней. Тогда доскажу. А пока запомни главное.

Она взяла его за руку сухими цепкими пальцами и сжала неожиданно крепко.

– Никому. Слышишь? Ни одной живой душе про Печать. Старикам своим веришь – и им не говори, что за дар у тебя. Скажи, диковинный, и хватит. Рыжей – тем паче. Потому что про осколок если прознают – придут за тобой. А про Перенятие если прознают – сожгут. И знать

им незачем, ни тем, ни другим, пока ты слаб. А слаб ты сейчас, мальчик, как котёнок. Глотнул одну огнёвую Печатёшку и слёг небось на полдня?

– На полдня, – признал Глеб.

– Вот. А чтоб не слёг – расти. И своё Зерно расти, и осторожно глотать чужое, по силам. Станешь крепче – дольше проживёшь. Тогда и приходи за остальным. А теперь ступай. И камень спрячь, пока его свет кто почуял.

Глеб спрятал осколок обратно за пазуху. Поднялся.

– Что я тебе должен, Аглая. За работу и за молчание.

Старуха махнула рукой.

– За сегодня – ничего. Считай, из любопытства глядела, давно живого Перенятия не видала, думала, уж и не увижу до смерти. А долг за тобой будет. Большой. Когда вырастешь в того, кем станешь, придёшь и отдашь. Чем – сама скажу. А пока иди. И рыжую береги, – добавила она вдруг, прищутив здоровый глаз. – Она к тебе уже прикипает, дура. А таким, как ты, прикипать опасно. И им, и тебе.

Глеб задержался на пороге. Обернулся.

– Почему опасно?

– Потому, – сказала Кривая Аглая, отворачиваясь к своему вареву, – что носитель Глотающей Печати рано или поздно остаётся один. Так уж заведено. Все, кого ты к себе подпустишь, станут либо твоей силой, либо твоей слабостью, через которую тебя и достанут. Подумай об этом, боярчик, прежде чем кого приваживать. А теперь – вон. Устала я от тебя. Давно так не пугалась.

Глеб вышел в стылое утро, где у двери ждали его Демьян и Таисья.

– Ну что, – не вытерпела Таисья, заглядывая ему в лицо. – Сказала тебе старуха, чего хотел? Чего ты там прячешь-то?

– Сказала, – ответил он, застёгивая пальто наглухо. – Что я диковинный. И что мне надо стать сильнее, пока сильные не пришли по мою душу. Идём домой. У нас завтра ростовщик, а я ещё не придумал, чем его бить.

Они пошли обратно сквозь туман Нижнего города. Глеб молчал всю дорогу, и Таисья, пару раз глянув на его лицо, расспрашивать перестала.

Назад из Нижнего города возвращались молча. Дома Прохор встретил их охами и горячим взваром из последних трав. Глеб выпил, сел к холодному камину и положил перед собой на стол ту самую отказную, что вчера принёс щёголь.

Триста рублей. Срок завтра. Денег нет и не будет.

Он перебирал варианты, как перебирал когда-то инструменты на лотке, прикидывая, чем резать. Бежать? Дом отнимут, и осколок достанется рыбе в тени. Драться, когда придёт пристав с приставскими? Положит он одного-двух, а пристав за спиной имеет всю городскую стражу, и тогда Калитина не выселят, а вздёрнут за бунт. Заплатить нечем. Уговорить Зунделевича? Ростовщиков не уговаривают.

Значит, бить надо не по долгу. По самому Зунделевичу. Найти, чем он держится, и дёрнуть оттуда.

– Таисья, – сказал он, не оборачиваясь. – Иди сюда. Ты в Нижнем городе всё знаешь. Что про Зунделевича говорят внизу?

Рыжая под села к столу, грызя сухарь, который выпросила у Прохора.

– Зунделевича-то? Да его весь Нижний знает. Тьфу на него. Полгорода у него в кабале. Дашь рубль – вернёшь три. Не вернёшь – пришлёт своих, и поминай как звали. – Она хмыкнула,

глянув на Глеба с новым уважением. – Внизу про вчерашнее уже шепчутся, барчук. Что бездарь Калитин у Зунделевичева огневика Силу высосал. Не верят, конечно. А слух идёт.

Глеб отметил это – слух пошёл, и быстро. Аглая права, надо беречься. Но сейчас важнее другое.

– А сам Зунделевич чего боится? Кому он сам должен? Перед кем дрожит?

Таисья задумалась, грызя сухарь.

– Дрожит он... дай вспомнить. Говорили, был у него год назад случай. Свёл он какого-то должника в могилу. Не сам, понятно, его громилы перестарались, забили насмерть за долг. А должник тот оказался не пустой – за ним родня стояла, не из бедных. Шум поднялся. Зунделевича чуть в приказ не утащили. Откупился. Но с тех пор он пуганный. Стражу боится, приказ боится. И ещё... – Она понизила голос, будто и тут стены слушали. – Говорят, он не сам по себе работает. Что есть над ним кто-то. Большой. Зунделевич только трясёт да собирает, а денежки и долги наверх уходят. К кому – никто не знает. Но как тот сверху скажет, так Зунделевич и пляшет.

Рыба в тени. Опять она.

– А откуда такое знают внизу?

– Так у Зунделевича в конторе свой человечек был, писарь. Спивался, болтал по кабакам, что бумаги не туда идут, что хозяин чужие приказы выполняет. А потом писарь возьми да помри. По пьяни, говорят, в канаве замёрз. Аккурат когда лишнего наболтал. – Таисья выразительно посмотрела на Глеба. – У нас внизу так: кто про Зунделевича лишнее знает, тот долго не живёт.

Глеб молчал, переваривая. Картина складывалась хорошо. Зунделевич не каменная стена. Зунделевич – пуганая, жадная щука, которая сама ходит под кем-то большим и до смерти боится приказа и огласки. У него за спиной труп забитого должника, которым его можно прижать.

Бить надо туда. В страх.

– Демьян, – сказал Глеб. – Тот забитый должник, про которого Таисья говорит. Год назад. Громкое было дело?

– Помню такое, – кивнул десятник. – Купчик молодой, в долги влез, Зунделевичевы псы его и забили. Родня шумела, в приказ ходила. Да замяли. Деньгами, видать.

– А родня жива? Где их найти?

Демьян поскрёб щетину.

– Найти можно. Город невелик. А вам зачем, барин? Старое ворошить...

Глеб встал, прошёлся вдоль холодного камина. В голове складывался план – не операция уже, а целая кампания, по пунктам, как он привык.

– А затем, что завтра придёт Зунделевич или его пристав. И я встречу его не с пустыми руками и не с одним кулаком. Я встречу его тем, чего он боится больше всего. Слухом. Бумагой. Свидетелем.

Он повернулся к своим.

– У нас есть ночь и утро. Демьян – на тебе родня забитого купца, найди и узнай, готовы ли они снова говорить. Таисья – на тебе Нижний город: всё, что есть на Зунделевича, любая грязь, любой страх. Прохор – на тебе бумаги. Перерой отцовский кабинет, все векселя, все расписки. В законных бумагах всегда есть щель, надо её найти.

Старики и Таисья смотрели на него. И Глеб видел в их глазах то, чего не видел вчера. Не жалость к пропащему мальчишке, не недоверие. А то, что бывает, когда у людей, давно бредущих в темноте, вдруг появляется кто-то, кто говорит: идём туда, я знаю дорогу.

– А вы, барин, – спросил Демьян, – чем займётесь, пока мы бегаем?

– А я займусь самым важным. Буду думать, как сложить всё это так, чтобы завтра Зунделевич пришёл нас давить, а ушёл – радуясь, что мы его не раздавили.

Они разошлись, и дом, ещё вчера мёртвый, вдруг ожил. Демьян, накинув тулуп, ушёл в город по своим солдатским связям. Таисья, сунув за голенище нож, нырнула в туман Нижнего города. Прохор, кряхтя, полез в отцовский кабинет, чихая от пыли.

А Глеб остался один и занялся бумагами, которые старик уже натаскал на стол.

Векселя, расписки, долговые обязательства. Он читал их медленно, въедливо, как читал когда-то истории болезни – где за казённым языком прячется то, чего не сказали прямо. Юридического образования у него не было ни в одной из жизней. Зато был навык читать документы насквозь и нюх на то, где концы не сходятся.

И концы не сходились.

К полуночи, при свече, обложившись бумагами, Глеб нашёл первую щель. Долговые расписки, которые Зунделевич скупил, были переписаны на него с прежних кредиторов. Лавочник, лекарь, соседи – все они когда-то дали в долг отцу, а потом продали эти долги ростовщику. Так делается, законно. Но в трёх расписках из семи стояла дата передачи долга, которая была позже даты смерти отца.

Глеб откинулся на спинку стула.

Мёртвый не подписывает. Отец умер год назад. А три расписки Зунделевич оформил так, будто покойник через месяц после похорон сам признал и передал долг. Подделка. Не вся сумма – на сотню с лишним из трёхсот. Но подделка. А подделка долговых бумаг – это уже не выселение. Это уголовное дело. Для ростовщика, который и так пуганый, у которого за спиной забитый должник, у которого над головой висит большой человек, не любящий шума, – это удавка.

Завтра он положит эти три расписки на стол. И тихо спросит: как же так вышло, любезный Лейб, что покойник из могилы долги признавал? И не открыть ли нам заодно то старое дело, благо приказ ещё помнит, как твои псы должника в землю свели?

Глеб задул свечу и долго сидел в темноте. План был хорош. Чистый, без чудес. Он бил туда, где у врага тонко: в страх, в подлог, в большого человека за спиной.

Но он был военным медиком и знал: ни один план не переживает встречи с реальностью целым. Завтра что-то пойдёт не так. Всегда идёт. Зунделевич окажется хитрее, или приведёт больше людей, или огласки испугается меньше, чем думалось. И тогда придётся импровизировать – с тремя расписками, одной чужой Печатью в груди и старым палахом Демьяна за спиной.

Он лёг не раздеваясь. Уснул мгновенно, как умел.

А утром в ворота дома Калитиных постучали. Громко, по-хозяйски, уверенно.

Зунделевич пришёл сам.

Глава 4 Тихий дом

Зунделевич оказался не таким, как ждал Глеб.

Он представлял себе жирного паука, лоснящегося от чужих денег. А в столовую, отряхивая снег с дорогой шубы, вошёл сухой, аккуратный человек лет пятидесяти, с короткой седящей бородкой, в очках с золотой оправой и с лицом усталого бухгалтера, которому всё на свете давно надоело. Только глаза за стёклами были живые. Холодные и быстрые, они обежали комнату, отметили Демьяна у стены, рыжую девку в углу, голые стены, и вернулись к Глебу с выражением лёгкой скуки.

За спиной Зунделевича встали двое. Не вчерашние громилы – эти были другого пошиба. Молчаливые, поджарые, с руками, которые держали у пояса свободно и наготове. И один из них, Глеб увидел сразу, был одарённый: над плечами дрожало то самое марево. Сильнее вчерашнего. Скала, не Камень.

Глеб отметил это спокойно. Зунделевич пришёл подготовленным. Узнал про вчерашнее и сделал выводы: привёл бойцов, а не пугал. Значит, и разговор будет всерьёз.

– Дмитрий... простите, Глеб Андреевич, – сказал ростовщик, и голос у него был под стать лицу, сухой, ровный, без всякого выражения. – Присесть позволите? Ноги уже не те, что в молодости.

– Садитесь, Лейб... как вас по отчеству?

– Просто Зунделевич. Меня все так зовут. – Он сел напротив, аккуратно сложив руки на столе. Снял очки, протёр платком, надел снова. – Я к вам по делу, и дело неприятное, не буду тянуть. Долг ваш – триста рублей с процентом. Срок сегодня. Денег у вас, как я понимаю, нет. – Он обвёл взглядом стены. – По стенам видно. Поэтому я приехал сам. Из уважения к памяти вашего батюшки, упокой Господь. Хочу решить миром.

– Миром, – повторил Глеб. – Это как же?

– А вот как. – Зунделевич достал из-за пазухи бумагу. Ту самую отказную, что вчера приносил щёголь, или её близнеца. – Подпишите отказ от земли – и я прощаю весь долг. Подчистую. Триста рублей, будто и не было. Землю заберу, вы с домом останетесь. Где жить – есть, долгов – нет. Разве плохо для сироты? – Он чуть подался вперёд. – А вчерашнее недоразумение с моим человеком забудем. Молодёжь горячая, не разобрались. С кем не бывает.

Глеб слушал и читал его, как читал всех. Зунделевич не злился на вчерашнее. Зунделевич испугался вчерашнего и потому хотел кончить дело быстро, по-тихому, без новых потерь. Ему нужна была земля, и нужна срочно. Так срочно, что он сам приехал и сам прощает триста рублей – целое состояние – лишь бы получить подпись и убраться.

Кто-то наверху давил на него. Торопил. Рыба в тени била хвостом.

– Щедро, – сказал Глеб, не торопясь. – Триста рублей за подпись. Вы человек деловой, Зунделевич. Деловые люди так не платят, если им просто нужна развалюха-земля под нищим домом. За неё и тридцати рублей много. А вы триста прощаете. Стало быть, земля вам не за тридцать нужна. И не вам.

Что-то дрогнуло в холодных глазах за очками. Едва заметно. Но Глеб поймал.

– Вы умнее, чем о вас говорят, Глеб Андреевич, – сухо сказал Зунделевич. – Жаль. С умными сложнее. Хорошо, скажу прямо: моя выгода в этом деле есть, и она моя забота, не ваша. Ваша забота – подписать и жить дальше. Или не подписать – и тогда сегодня же придёт пристав, опишет дом, и землю вы потеряете всё равно, только уже без всякой выгоды для себя. Выбор простой.

Он положил перо на стол. Рядом с отказной. И откинулся, сложив руки, с видом человека, который сказал всё и ждёт неизбежного.

А Глеб не взял перо.

Глеб медленно, не торопясь, достал из-под полы три расписки. Те самые. И положил их на стол поверх отказной. Аккуратно, одну к одной.

– Прежде чем я выберу, Зунделевич, давайте кое-что проясним. Вот три расписки из тех, по которым вы держите мой долг. Признаёте свои бумаги?

Ростовщик глянул мельком, кивнул.

– Мои. И что?

– А вот что. – Глеб ткнул пальцем в дату на первой. – Видите число? Это день, когда долг моего отца перешёл к вам. Отец признал его и передал вам право требования. Так?

– Так. Обычное дело.

– Обычное. Только мой отец умер вот в этот день. – Глеб положил рядом другую бумагу, выписку, которую с утра отыскал в кабинете, метрику о смерти с печатью прихода. – А расписку вы оформили на месяц позже. И вот эту – на два. И эту – на полтора. Все три – после того, как отец лёг в землю. – Он поднял глаза на ростовщика, и голос его не повысился ни на ноту. – Объясните мне, Зунделевич. Как мёртвый человек через месяц после похорон признавал долги и передавал вам права? Он что, из могилы вставал подписывать?

В столовой стало очень тихо.

Зунделевич не шевельнулся. Но Глеб, который двадцать лет читал пациентов по микро-движениям, увидел всё: как побелели костяшки сложенных рук, как чуть дёрнулся кадык, как замерли за стёклами быстрые глаза. У живого человека, прижатого к стене, тело всегда выдаёт страх раньше языка – зрачок, испарина, дыхание. Ростовщик считал. Быстро, лихорадочно. Прикидывал, насколько мальчишка опасен.

– Канцелярская ошибка, – сказал он наконец, ровно, но уже без прежней скуки. – Писарь напутал с датами. Бывает. Это ничего не меняет, долг есть долг.

– Ошибка, – кивнул Глеб. – Допустим. Только знаете, что бывает, когда такая ошибка ложится на стол в Долговом приказе? Её называют подлогом долговых бумаг. А подлог – это не выселение, Зунделевич. Это острог. И это пересмотр всех ваших дел, не только моего. – Он сделал паузу, давая словам осесть. – А заодно, раз уж приказ заинтересуется, всплывёт и то старое дело. Помните? Год назад. Купчик молодой, которого ваши люди забили насмерть за долг. Родня тогда шумела, да вы откупились. А если открыть заново, да приложить вот эти расписки, да найти кое-кого, кто готов снова дать показания... – Глеб чуть кивнул в сторону Демьяна, и пусть это был блеф наполовину, родню купца десятник ещё не привёл, но Зунделевич-то не знал. – Как думаете, во что вам это встанет? Дороже трёхсот рублей?

Тишина натянулась, как струна. Одарённый за спиной ростовщика переступил с ноги на ногу, и марево над ним качнулось – он ждал команды. Демьян у стены неприметно сместился так, чтобы оказаться между бойцами и барином, и рука его легла на палаш.

Глеб не отрывал взгляда от Зунделевича. Сейчас всё решалось. Если ростовщик решит, что проще убрать мальчишку, чем торговаться, – будет драка. Глеб против двоих бойцов, один из которых Скала, имея в груди одну ослабленную Печать и старого вояку за спиной. Шансы скверные. Но Глеб ставил не на драку. Он ставил на то, что прочёл в Зунделевиче с первой минуты: этот человек не любит крови. Кровь – это шум, а шума он боится больше всего.

И он не ошибся.

Зунделевич медленно снял очки. Протёр. Надел. Этот жест, понял Глеб, был у него вместо того, чтобы выругаться.

– Чего вы хотите, Глеб Андреевич, – сказал он тихо. – Вы ведь не в приказ собрались, иначе уже пошли бы, а не сидели тут со мной. Вы торговаться хотите. Так торгуйтесь. Что вам надо?

Вот теперь они говорили на одном языке. Глеб подался вперёд.

– Первое. Весь долг – не часть, весь – признаётся ничтожным. Раз бумаги поддельные, нет и долга. Расписки вы заберёте и сожжёте, и забудете дорогу к этому дому навсегда. Отказную,

– он подвинул её обратно к ростовщику, – тоже заберёте. Землю Калитиных вы не получите. Ни вы, ни тот, кто за вами стоит.

Зунделевич молчал, считая. Триста рублей он терял. Но острог терял бы куда больше. Глеб видел, как чаша весов в холодных глазах склоняется.

– Допустим, – выдавил ростовщик. – А второе? Я же вижу, у вас есть и второе.

– Есть. – Глеб понизил голос так, чтобы слышал только Зунделевич. – Второе – между нами. Без бойцов и без стариков. Кто велел вам отжимать эту землю? На кого вы работаете? Назовите имя – и я забуду про расписки навсегда. Не назовёте – они завтра же лягут в приказ, и пусть тогда ваш большой человек вытаскивает вас из острога, если захочет. А он не захочет. Такие, как он, пешком из огня не таскают. Сами знаете.

Зунделевич дёрнулся. Впервые за весь разговор на его лице проступило настоящее чувство – страх. Не перед Глебом. Перед тем, чьё имя у него просили.

– Вы не понимаете, во что лезете, мальчик, – прошептал он, и голос его сел. – Я вам долг прошу, бог с ним, с долгом. Землю не трону. Но имя... имя я вам не назову. Потому что за расписки меня посадят. А за имя – убьют. И вас следом, едва вы его произнесёте вслух. Тот, кто за этим стоит, он... – Зунделевич осёкся, оглянулся на своих бойцов, понизил голос до едва слышного. – Он из тех, кому весь Долговой приказ – карман. И стража – карман. И кое-кто повыше – тоже. Вы расписками своими его не достанете. А он вас достанет одним словом.

Глеб смотрел в испуганные глаза ростовщика и понимал: тот не врёт. Рыба в тени – не просто богатый купчина. Кто-то с настоящей властью. Кто-то, перед кем дрожит даже Зунделевич, не последний в городе хищник.

Назвать имя ростовщик не назовёт – слишком боится. Но Глеб и так узнал многое. Враг – человек огромной власти, которому подчинены приказы и стража. Который скупает опальные роды и их землю ради того, что под ней. И который не остановится.

– Хорошо, – сказал Глеб, выпрямляясь и возвращая голосу обычную громкость. – Имя не называйте. Бойтесь – ваше право. Сойдёмся на первом: долг ничтожен, земля моя, вы исчезаете. Согласны?

Зунделевич выдохнул, с облегчением человека, которому позволили не прыгать в пропасть.

– Согласен. И знаете что, Глеб Андреевич... – Он собрал расписки, спрятал, поднялся. И посмотрел на мальчишку почти с сочувствием. – Я вам зла не желаю, поверьте. Я сам в этом деле невольник. Но послушайте совета старого ростовщика, который умеет считать. Вы сегодня выиграли у меня. Маленький выигрыш, и ловкий, не спорю. Но вы не понимаете масштаба того, против кого играете. Продайте землю. Не мне – так уйдите от неё. Бросьте этот дом, уезжайте из города. Потому что тот, кто хочет вашу землю, не отступится. А он не я. Он крови не боится. Он на ней живёт.

Он надел шубу, кивнул бойцам, и они вышли так же молча, как вошли. У дверей Зунделевич обернулся.

– И ещё. Про вашего огневика, которого вы вчера... обработали. Молчите об этом, мальчик. Крепко молчите. Потому что если про такой ваш талант прознает не только Нижний город, но и те, кому положено... к вам придёт не пристав. К вам придёт Орден. А от Ордена я вас, при всём желании, не откуплю.

Дверь закрылась. На дворе скрипнул снег под полозьями саней, и всё стихло.

В столовой повисло молчание. Потом Прохор, всё это время простоявший ни жив ни мёртв в дверях кухни, мелко перекрестился и осел на лавку.

– Барин, – выдохнул он. – Барин, неужто... неужто отбились? Долг-то... долга нет?

– Нет долга, Прохор, – сказал Глеб, чувствуя, как отпускает напряжение, державшее его всю эту встречу. – Дом наш. Земля наша.

Демьян медленно убрал руку с палаша. Посмотрел на барина долгим взглядом, в котором было уже не недоверие и не опаска, а нечто похожее на то, с чем смотрят на командира, за которым пойдут.

– Я думал, дойдёт до железа, – глухо сказал он. – Уж готовился. А вы их бумажкой да словом. Без единого удара. – Он покачал седой головой. – Где вы так научились людей ломать, Глеб Андреич? Это ж не мальчишеское.

Глеб не ответил. Он смотрел на закрывшуюся дверь и думал не о победе. Победа была маленькая, Зунделевич прав. Он отбил долг и дом. Но узнал главное и страшное: за всем стоит человек с огромной властью, которому подчинены приказы и стража, который скупает роды ради Источников и не боится крови. Тот, кто убил его родителей.

А ещё он поймал на себе взгляд. Таисья смотрела на него из угла – не с любопытством уже, а с чем-то другим, тёплым и опасным, что Аглая углядела раньше его самого. Рыжая видела, как битый барчук, у которого вчера не было ничего, переиграл матёрого ростовщика с двумя бойцами, не вынув ножа. И в её глазах это что-то разгоралось.

Глеб отвёл взгляд.

– Прохор, – сказал он, вставая. – Раз дом наш – давайте его топить. Хватит мёрзнуть. И поедем уже по-человечески, не на крысах. Демьян, у нас есть на что купить дров и хлеба?

– Найдём, барин, – впервые за два дня усмехнулся в усы старый вояка. – Теперь – найдём.

Первый за год протопленный дом дышал теплом, и это было почти больно.

Глеб сидел у живого огня в большой комнате, и тепло вползало в чужое тело медленно, по-стариковски, отогревая то, что промёрзло, кажется, до самых костей за зиму впроголодь. Демьян на купленные дрова не поскупился, и камин гудел впервые с похорон. Прохор хлопотал у плиты, и по дому плыл забытый запах настоящей еды – каши с салом, хлеба, лукового духа. А у старика руки дрожали от радости, когда он ставил перед барином полную миску.

– Ешьте, Глеб Андреич, – приговаривал он. – Ешьте досыта. Отощали-то как. Теперь, бог даст, отъедемся.

Глеб ел и думал.

Победа над Зунделевичем грела не хуже камина, но он не позволял себе обмануться. Военный медик знает цену передышке между боями: это не мир, это время перевязать раны и перезарядить. Долг он отбил. А всё, ради чего этот долг затевался, осталось на месте. Осколок Источника по-прежнему лежал в тайнике под полом каморки. Рыба в тени по-прежнему хотела землю. И, как обещал на прощание ростовщик, не собиралась отступать.

Зунделевич был шукой. Глеб отвадил шуку. Но за шукой стояла акула, которой весь Долговой приказ – карман, а стража – карман. И эта акула теперь знала, что у мальчишки Калитина дом не отнять простым долгом. Значит, придумает что-нибудь похитрее.

– Демьян, – сказал Глеб, отодвигая опустевшую миску. – Сядь. И ты, Таисья. Прохор, и ты бросай свою плиту, послушай. Разговор общий.

Они собрались у огня. Эти трое – старый дворецкий, старый вояка и рыжая воровка – были теперь всем его войском. Смешное войско для того, кто собрался воевать с акулой. Но Глеб давно усвоил: воюют не числом, а тем, что есть, и тем, кто рядом.

– Мы выиграли время, – начал он. – Не больше. Долга нет, дом наш, но тот, кто хотел нашу землю, никуда не делся. Зунделевич прямо сказал: этот человек не отступится. Значит, будет второй заход. Не знаю когда и не знаю какой. Но будет. И к нему надо готовиться, пока есть передышка.

– К чему готовиться-то, барин, – спросил Демьян. – Коли мы даже не знаем, кто он и откуда ударит.

– К тому, чтобы стать сильнее, чем сейчас, – ответил Глеб. – Сейчас нас можно раздавить одним движением. Трое стариков, девка и я с одной чужой Печатью в груди, от которой меня сутки наизнанку выворачивает. Это не сила. Это мишень. А я не намерен быть мишенью.

Он встал, прошёлся вдоль камина, привычка думать на ходу.

– Три вещи. Первая – я. Мне надо научиться владеть тем, что у меня есть, и стать крепче. Толку от Печати, если я после одного огонька лежу пластом? Это я беру на себя. Вторая – дом. Демьян, на тебе оборона. Окно заколотить, ворота укрепить, найти, кого ещё из старой дружины можно вернуть, хоть пару человек, кому верить можно. Денег пока нет, но будут. Третья – глаза и уши. Нам нужно знать, что делается в городе. Кто про нас спрашивает, кто к дому приглядывается, какие слухи ходят. И тут, – он посмотрел на рыжую, – моя надежда на тебя, Таисья. Нижний город слышит всё раньше, чем верхний. Ты можешь быть нашими ушами.

Таисья, грызшая хлебную корку, вскинулась.

– Я-то могу. Только, барчук... есть загвоздка. – Она помрачнела, и в зелёных глазах мелькнула та злость, что Глеб помнил по первой встрече. – Я в Нижний город теперь не больно-то и сунусь. По крайней мере, не везде.

– Почему?

– Потому что я оттуда сбежала. От Кадыка. – Она сказала это имя так, будто выплюнула. – Смотрящий наш. По нашему кварталу. Я ему была должна – он меня, сироту, мальцом подобрал, кормил, а как подросла, велел на него работать. Воровать, что прикажет, нести, что велит. А кто у Кадыка в долгу, тот его собственность. Я в тот вечер, когда к тебе в окно полезла, как раз от него и бегала. Он меня бил, – она тронула сходящий синяк на скуле, – за то, что мало принесла. Вот я и решила – лучше сдохну, чем назад. А теперь... – Она невесело усмехнулась. – Теперь, барчук, как Кадык прознает, что я к боярину прибилась да жива-здоровая, он меня из-под земли достанет. Я ж его собственность, по их понятиям. Сбежавшая. А за сбежавших Кадык спрос держит крепко, чтоб другим неповадно.

Глеб слушал и складывал. Вот она, вторая угроза, выросла сама собой, изнутри, из его же войска. Он подобрал рыжую – и вместе с ней подобрал её долг и её хозяина.

– Этот Кадык, – спросил он спокойно. – Что за человек?

– Страшный человек, барчук. – Таисья понизила голос. – Полкквартила под ним. Воры, нищие, скупщики краденого – все ему дань несут. У него своя ватага, головорезы. И сам он не промах – поговаривают, в нём Сила есть. Не боярская, дикая, нечитаная, но есть. Кулаком кость ломает с одного удара. Его весь Нижний город боится. Даже Зунделевич с ним не связывается – они вроде как поделили: ростовщик деньгами трясёт, Кадык кулаком.

Глеб помолчал, глядя в огонь. Дикая Сила, нечитаная. Аглая говорила, что носитель Перенятия может сожрать любую Печать. А что насчёт дикой, незаконной Силы уличного смотрящего? Эту мысль придержал при себе.

– Хорошо, – сказал он. – Значит, так. В Нижний город пока не суёшься, Таисья. Глаза и уши заводим иначе – через тех, кто Кадыку не подчиняется. Прохор, у тебя в городе старые знакомства остались? Из прислуги других домов, из лавочников?

– Найдутся, барин, – закивал старик. – Прислуга друг друга знает. Базар, опять же, всё слышит.

– Вот через прислугу и базар и слушаем. А Таисья пусть пока сидит дома и носа не кажет. Кадык не должен узнать, где она.

Таисья насупилась.

– Я не приживалка, барчук, чтоб по дому сидеть. Я работать привыкла. Ты меня взял за дело, а не нахлебницей.

Тут Глеб и увидел в ней то, что роднило рыжую с ним самим. Гордость. Ту самую, что не даёт сесть на шею даже когда сесть некуда. Он такую уважал.

– За дело и держу, – сказал он. – Дел будет много, не переживай. Просто сейчас твоё дело – не подставиться. Живая и спрятанная ты мне полезней, чем мёртвая и храбрая. Это приказ, Таисья. Первый, что я тебе даю. Усвой: я своих людей под нож зря не пускаю. Никогда.

Что-то дрогнуло в лице рыжей. Она открыла рот возразить – и закрыла. «Своих людей». Он сказал «своих». Её, воровку, подобранную с голодухи два дня назад, он назвал своей. Не «девка», не «приживалка». Своя.

Она отвернулась к огню, пряча лицо, и буркнула:

– Ладно. Посижу. Покуда.

Глеб сделал вид, что не заметил, как она прячет глаза. Он и правда не пускал своих под нож – это было не красивым словом, а костью, вросшей в него за две войны, где он терял людей и знал, что иные смерти были на его совести, потому что недоглядел, недодумал, отправил не туда. Здесь он недоглядывать не собирался.

Поздно вечером, когда дом затих и старики уснули, а Таисья ушла в свою каморку, Глеб остался один у догорающего камина и занялся первым из трёх дел. Самым важным. Собой.

Он закрыл глаза и потянулся вниманием внутрь, к груди. К двум огонькам, что теплились там рядом. Тусклое Зерно – его собственная скудная Сила, ранг Пыль. И свёрнутая, чужая, ослабленная огненная Печать, которую он выдрал из щёголя.

Зерно стало ярче. Не намного – Пыль так и осталась Пылью. Но огонёк горел заметно ровнее и сильнее, чем в первое утро. И Глеб, перебрав в памяти всё, что говорила Аглая и что чувствовал сам, понял почему.

Зерно растёт от пережитого. Не от тренировки, как мышца, а от потрясений, от пройденного через себя. За эти три дня он пережил больше, чем прежний Глеб за год: смерть и второе рождение, первый бой, первое присвоение Печати на грани болевого шока, находку Источника, схватку умов с Зунделевичем, где ставкой был дом. Каждое такое событие было для Зерна как удобрение. Оно питалось его волей, его выбором не сломаться, его победами.

Вот в чём система этого мира. Сила здесь растёт не у того, кто больше машет руками на тренировках. А у того, кто больше прожил на пределе и не отступил. Очень удобно для человека, который всю жизнь только этим и занимался.

Он сосредоточился на чужой огненной Печати. В первый раз он применил её случайно, на инстинкте – выбросил руку, и вспыхнул кривой огонёк. Теперь он хотел понять её. Освоить. Как осваивал когда-то новый хирургический инструмент: не «как-нибудь получилось», а «знаю каждое движение».

Он раскрыл ладонь и потянул Силу из Зерна к Печати, как тянут струю. В первый раз вышел чадающий, неровный язычок – Печать ослаблена, да и владел он ею пока коряво. Глеб не расстроился. Он гасил и зажигал, гасил и зажигал, десятки раз, вслушиваясь в каждое движение Силы, нащупывая, где она течёт легко, а где упирается. Так он когда-то отрабатывал шов на свиной коже, пока рука не запоминала сама.

К середине ночи огонёк горел послушнее. Не ярче – на ярче не хватало ни Зерна, ни мастерства, – но он научился держать его, гасить мгновенно, перебрасывать с ладони на ладонь. Голова к концу гудела, в груди ныло, по спине тёк пот – даже это малое упражнение выпивало его скудную Силу досуха. Но это была работа. Понятная, честная работа на результат, какую он любил в обеих жизнях.

И когда он, обессиленный, гасил последний огонёк, в дверь комнаты тихо поскреблись.

Таисья. Она стояла на пороге в накинутом на плечи тулупе, босая, и смотрела на догорающий в его ладони огонёк широко раскрытыми глазами.

– Не спится, – буркнула она, отводя взгляд от его лица к огню. – Привычка. У Кадыка спали вполглаза, чтоб не зарезали. – Она помолчала. – Я слышала, ты тут возишься всю ночь. Думала, случилось чего. А ты, оказывается, колдуешь.

– Учусь, – поправил Глеб, гася огонёк. – Колдовать – это когда само получается. А у меня само не получается. Приходится учиться.

Таисья прошла, села на корточки у камина, протянула к углям тонкие руки. В отсветах пламени её рыжие волосы казались живым огнём, и Глеб поймал себя на том, что смотрит – и отвёл взгляд.

– Барчук, – сказала она тихо, не глядя на него. – Можно спросить? Только честно.

– Спрашивай.

– Ты зачем меня взял? Вот по правде. Не за проводника же одного. Проводника можно было нанять и бросить. А ты крышу дал, угол, едой кормишь, под нож пускать не хочешь. Я ж тебе никто. Воровка с улицы. Так зачем?

Глеб смотрел в огонь и думал, что ответить. Сказать правду – что собирает своих, потому что в обоих своих жизнях слишком часто оставался один? Что узнал в её гордости и её одиночестве себя? Это было бы слишком. Слишком рано и слишком много.

– Затем, – сказал он наконец, – что человека, который с голодухи и побоев не сломался, а нож в руке держит и в глаза смотрит, бросать на улице глупо. Такие на дороге не валяются. – Он помолчал. – И ещё затем, Таисья, что мне самому когда-то было некуда идти. Давно. В другой жизни почти. И я знаю, каково это, когда тебя держат за пустое место. Не хочу так держать никого, кто мне поверил.

Таисья долго молчала, глядя в угли. Потом встала, плотнее запахнула тулуп.

– Чудной ты, барчук, – сказала она. – Совсем не как бояре. – И уже у двери, обернувшись, добавила тихо, почти неслышно: – Спасибо. За «своих». Меня так давно никто не звал.

И ушла, прежде чем он успел ответить.

Глеб остался один у остывающего камина. В груди ровно горело чуть подросшее Зерно, рядом сворачивалась освоенная наполовину Печать. Он поднялся, потушил угли и пошёл спать.

А где-то в городе, за тёмными улицами и реками, акула в тени уже обдумывала второй ход.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.